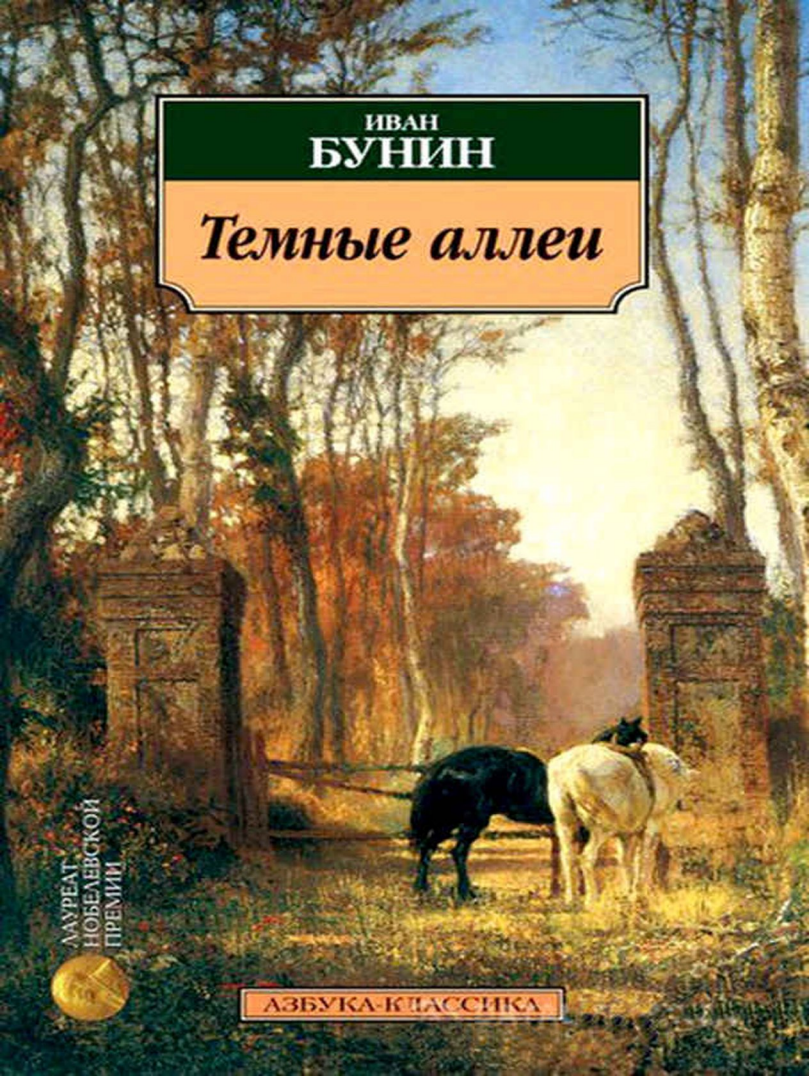
ИВАН
БУНИН
Темные аллеи
ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ
АЗБУКА-КЛАССИКА

Антигона

Иван Алексеевич Бунин

Аннотация
Антигона

Аннотация

Каждое лето этот студент ездил летом в усадьбу к своим дяде и тете, в его обязанности входило посетить дядю, лишившегося ног генерала. В это лето по приезду в июне молодой человек обратил внимание на то, что кресло с генералом выкатила навстречу к нему высокая, статная красавица, «… с большими серыми глазами, вся сияющая молодостью, крепостью, чистотой, блеском холеных рук, матовой белизной лица». Генерал в шутку звал ее Антигоной…

Антигона

В июне, из имения матери, студент поехал к дяде и тете, — нужно было проведать их, узнать, как они поживают, как здоровье дяди, лишившегося ног генерала. Студент отбывал эту повинность каждое лето и теперь ехал с покорным спокойствием, не спеша читал в вагоне второго класса, положив молодую круглую ляжку на отвал дивана, новую книжку Аверченки, рассеянно смотрел в окно, как опускались и подымались телеграфные столбы с белыми фарфоровыми чашечками в виде ландышей. Он похож был на молоденького офицера — только белый картуз с голубым околышем был у него студенческий, все прочее на военный образец: белый китель, зеленоватые рейтузы, сапоги с лакированными голенищами, портсигар с зажигательным оранжевым жгутом.

Дядя и тетя были богаты. Когда он приезжал из Москвы домой, за ним высылали на станцию тяжелый тарантас, пару рабочих лошадей и не кучера, а работника. А на станции дяди он всегда вступал на некоторое время в жизнь совсем иную, в удовольствие большого достатка, начинал чувствовать себя красивым, бодрым, манерным. Так

было и теперь. Он с невольным фатовством сел в легкую коляску на резиновом ходу, запряженную резвой караковой тройкой, которой правил молодой кучер в синей поддевке-безрукавке и шелковой желтой рубахе.

Через четверть часа тройка влетела, мягко играя россыпью бубенчиков и шипя по песку вокруг цветника шинами, на круглый двор обширной усадьбы, к перрону просторного нового дома в два этажа. На перрон вышел взять вещи рослый слуга в полубачках, в красном с черными полосами жилете и штиблетах. Студент сделал ловкий и невероятно широкий прыжок из коляски: улыбаясь и раскачиваясь на ходу, на пороге вестибюля показалась тетя — широкий чесучовый балахон на большом дряблом теле, крупное обвисшее лицо, нос якорем и под коричневыми глазами желтые подпалины. Она родственно расцеловала его в щеки, он с притворной радостью припал к ее мягкой темной руке, быстро подумав: целых три дня врать вот так, а в свободное время не знать, что с собой делать! Притворно и поспешно отвечая на ее притворно-заботливые расспросы о маме, он вошел за ней в большой вестибюль, с веселой ненавистью взглянул на несколько сгорбленное чучело бурого медведя с блестящи-

ми стеклянными глазами, косолапо стоявшего во весь рост у входа на широкую лестницу в верхний этаж и услужливо державшего в когтистых передних лапах бронзовое блюдо для визитных карточек, и вдруг даже приостановился от отрадного удивления: кресло с полным, бледным, голубоглазым генералом ровно катила навстречу к нему высокая, статная красавица в сером холстинковом платье, в белом переднике и белой косынке, с большими серыми глазами, вся сияющая молодостью, крепостью, чистотой, блеском холеных рук, матовой белизной лица. Целуя руку дяди, он успел взглянуть на необыкновенную стройность ее платья, ног. Генерал пошутил:

— А вот это моя Антигона, моя добрая путеводительница, хотя я и не слеп, как Эдип, и особенно на хорошеньких женщин. Познакомьтесь, молодые люди.

Она слегка улыбнулась, только поклоном ответила на поклон студента.

Рослый слуга в полубачках и в красном жилете провел его мимо медведя наверх, по блестящей темно-желтым деревом лестнице с красным ковром посредине и по такому же коридору, ввел в большую спальню с мраморной туалетной комнатой рядом — на этот раз в какую-то другую,

чем прежде, и окнами в парк, а не во двор. Но он шел, ничего не видя. В голове все еще вертелась веселая чепуха, с которой он въехал в усадьбу, — «мой дядя самых честных правил», — но стояло уже и другое: вот так женщина!

Напевая, он стал бриться, мыться и переодеваться, надел штаны со штрипками, думая:

«Бывают же такие женщины! И что можно отдать за любовь такой женщины! И как же это при такой красоте катать стариков и старух в креслах на колесиках!»

И в голову шли нелепые мысли: вот взять и остаться тут на месяц, на два, втайне ото всех войти с ней в дружбу, в близость, вызвать ее любовь, потом сказать: будьте моей женой, я весь и навеки ваш. Мама, тетя, дядя, их изумление, когда я заявлю им о нашей любви и нашем решении соединить наши жизни, их негодование, потом уговоры, крики, слезы, проклятия, лишение наследства — все для меня ничто ради вас…

Сбегая с лестницы к тете и дяде, — их покои были внизу, — он думал:

«Какой, однако, вздор лезет мне в голову! Остаться тут под каким-нибудь предлогом, разумеется, можно… можно начать незаметно ухаживать, прикинуться безумно влюбленным…

Но добьешься ли чего-нибудь? А если и добьешься, что дальше? Как развязаться с этой историей? Правда, что ли, жениться?»

С час он сидел с тетей и дядей в его огромном кабинете с огромным письменным столом, с огромной тахтой, покрытой туркестанскими тканями, с ковром на стене над ней, крест-накрест увешанным восточным оружием, с инкрустированными столиками для курения, а на камине с большим фотографическим портретом в палисандровой рамке под золотой коронкой, на котором был собственноручный вольный росчерк: Александр.

— Как я рад, дядя и тетя, что я опять с вами, — сказал он под конец, думая о сестре. — И как тут чудесно у вас! Ужасно будет жаль уезжать.

— А кто ж тебя гонит? — ответил дядя. — Куда тебе спешить? Живи себе, покуда не наскучит.

— Разумеется, — сказала тетя рассеянно.

Сидя и беседуя, он непрестанно ждал: вот-вот войдет она — объявит горничная, что готов чай в столовой, и она придет катить дядю. Но чай подали в кабинет — вкатили стол с серебряным чайником на спиртовке, и тетя разливала сама. Потом он все надеялся, что она принесет какое-нибудь лекарство дяде… Но она так и не пришла.

— Ну и черт с ней, — подумал он, выходя из кабинета, вошел в столовую, где прислуга спускала шторы на высоких солнечных окнах, заглянул зачем-то направо, в двери зала, где в предвечернем свете отсвечивали в паркете стеклянные стаканчики на ножках рояля, потом прошел налево, в гостиную, за которой была диванная; из гостиной вышел на балкон, спустился к разноцветноярскому цветнику, обошел его и побрел по высокой тенистой аллее… На солнце было еще жарко, и до обеда оставалось еще два часа.

В семь с половиной в вестибюле завыл гонг. Он первый вошел в празднично сверкающую люстрой столовую, где уже стояли возле столика у стены жирный бритый повар во всем белом и подкрахмаленном, худощекий лакей во фраке и белых вязаных перчатках и маленькая горничная, по-французски субтильная. Через минуту молочно-седой королевой, покачиваясь, вошла тетя в палевом шелковом платье с кремовыми кружевами, с наплывами на щиколках, над тесными шелковыми туфлями, и наконец-то она. Но, подкатив дядю к столу, она тотчас, не оборачиваясь, плавно вышла, — студент успел только заметить странность ее глаз: они не моргали. Дядя покрестил грудь светло-серой генеральской

тужурки мелкими крестиками, тетя и студент истово перекрестились стоя, потом именинно сели, развернули блестящие салфетки. Размытый, бледный, с причесанными мокрыми жидкими волосами, дядя особенно явно показывал свою безнадежную болезнь, но говорил и ел много и со вкусом, пожимал плечами, говоря о войне, — это было время русско-японской войны: за коим чертом мы затеяли ее! Лакей служил оскорбительно-безучастно, горничная, помогая ему, семенила изящными ножками, повар отпускал блюда с важностью истукана. Ели горячую, как огонь, налимью уху, кровавый ростбиф, молодой картофель, посыпанный укропом. Пили белое и красное вино князя Голицына, старого друга дяди. Студент говорил, отвечал, поддакивал с веселыми улыбками, но, как попугай, с тем вздором в голове, с которым давеча переодевался, думал: а где же обедает она, неужели с прислугой? и ждал минуты, когда она опять придет, увезет дядю и потом где-нибудь встретится с ним, и он перекинется с ней хоть несколькими словами. Но она пришла, укатила кресло и опять где-то скрылась.

Ночью осторожно и старательно пели в парке соловьи, входила в открытые окна спальни свежесть воздуха, росы и политых на клумбам

цветов, холодило постельное белье голландского полотна. Студент полежал в темноте и уже решил перевернуться к стене и заснуть, но вдруг поднял голову, привстал: раздеваясь, он увидал в стене у изголовья кровати небольшую дверь, из любопытства повернул в ней ключ и нашел за ней вторую, попробовал ее, но оказалось, что она заперта снаружи; теперь за этими дверями кто-то мягко ходил, что-то таинственно делал; и он затаил дыхание, соскользнул с кровати, отворил первую дверь, прислушался: что-то тихо зазвенело на полу за второй дверью… Он похолодел: неужели это ее комната! Он приник к замочной скважине, — ключа в ней, к счастью, не было, — увидал свет, край туалетного женского стола, потом что-то белое, вдруг вставшее и все закрывшее… Было несомненно, что это ее комната, — чья же иначе? Не поместят же тут горничную, а Марья Ильинишна, старая горничная тети, спит внизу возле тетиной спальни. И он точно заболел сразу ее ночной близостью вот тут, за стеною, и ее недоступностью. Он долго не спал, проснулся поздно и тотчас опять почувствовал, мысленно увидал, представил себе ее ночную прозрачную сорочку, босые ноги в туфлях…

«Впору нынче же уехать!» — подумал он, за-

куривая. Утром пили кофе каждый у себя. Он пил, сидя в широкой ночной рубахе дяди, в его шелковом халате, и с грустью бесполезности рассматривал себя, распахнув халат.

За завтраком в столовой было сумрачно и скучно. Он завтракал только с тетей, погода была плохая, — за окнами мотались от ветра деревья, над ними сгущались облака и тучи…

— Ну, милый, я тебя покидаю, — сказала тетя, вставая и крестясь. — Развлекайся, как можешь, а меня и дядю уж извини по нашим немощам, мы до чаю сидим по своим углам. Верно, дождь будет, а то бы ты мог прокатиться верхом…

Он бодро ответил:

— Не беспокойтесь, тетя, я займусь чтением…

И пошел в диванную, где все стены были в полках с книгами.

Пройдя туда по гостиной, он подумал, что, может быть, все-таки следует приказать оседлать лошадь. Но в окна были видны разнообразные дождевые облака и неприятная металлическая лазурь среди лиловатых туч над качающимися вершинами деревьев. Он вошел в уютную, пахнущую сигарным дымом диванную, где под полками с книгами кожаные диваны занимали целых три стены, посмотрел некоторые корешки

чудесно переплетенных книг — и беспомощно сел, утонул в диване. Да, адова скука. Хоть бы просто так увидать ее, поболтать с ней… узнать, какой у ней голос, какой характер, глупа ли она или, напротив, очень себе на уме, скромно ведет свою роль до какой-нибудь благоприятной поры. Вероятно, очень блюдущая себя и знающая себе цену стерва. И скорее всего глупа… Но до чего хороша! И опять ночевать рядом с ней! — Он встал, отворил стеклянную дверь на каменные ступени в парк, услыхал щелканье соловьев за его шумом, но тут так понесло прохладным ветром по каким-то молодым деревьям влево, что он вскочил в комнату. Комната потемнела, ветер летел по этим деревьям, пригнув их свежую зелень, и стекла двери и окон заискрились острыми брызгами мелкого дождя.

— А им все нипочем! — громко сказал он, слушая долетающее со всех сторон из-за ветра, то отдаленное, то близкое, щелканье соловьев. И в ту же минуту услыхал ровный голос:

— Добыли день.

Он взглянул и оторопел: в комнате стояла она.

— Пришла обменять книгу, — сказала она с приветливым бесстрастием. — Только и радости, что книги, — прибавила она с легкой улыбкой и

подошла к полкам.

Он пробормотал:

— Добрый день. Я и не слыхал, как вы вошли…

— Очень мягкие ковры, — ответила она и, обернувшись, уже длительно посмотрела на него своими неморгающими серыми глазами.

— А что вы любите читать? — спросил он, немного смелее встречая ее взгляд.

— Сейчас читаю Мопассана, Октава Мирбо…

— Ну да, это понятно. Мопассан всем женщинам нравится. У него все о любви.

— А что же может быть лучше любви?

Голос ее был скромен, глаза тихо улыбались.

— Любовь, любовь! — сказал *он,* вздыхая. — Бывают удивительные встречи, но… Ваше имя-отчество, сестра?

— Катерина Николаевна. А ваше?

— Зовите меня просто Павлик, — ответил он, все больше смелея.

— Вы думаете, что я вам тоже в тети гожусь?

— Дорого бы я дал иметь такую тетю! Пока я только ваш несчастный сосед.

— Неужели это несчастие?

— Я слышал вас нынче ночью. Ваша комната, оказывается, рядом с моей.

Она безразлично засмеялась:

— И я вас слышала. Нехорошо подслушивать и подсматривать.

— Как вы непозволительно красивы! — сказал он, в упор рассматривая серую пестроту ее глаз, матовую белизну лица и лоск темных волос под белой косынкой.

— Вы находите? И хотите не позволить мне быть такой?

— Да. Одни ваши руки могут с ума свести…

И он с веселой дерзостью схватил левой рукой ее правую руку. Она, стоя спиной к полкам, взглянула через его плечо в гостиную и не отняла руки, глядя на него со странной усмешкой, точно ожидая: ну, а дальше что? Он, не выпуская ее руки, крепко сжал ее, оттягивая книзу, правой рукой охватил ее поясницу. Она опять взглянула через его плечо и слегка откинула голову, как бы защищая лицо от поцелуя, но прижалась к нему выгнутым станом. Он, с трудом переводя дыхание, потянулся к ее полураскрытым губам и двинул ее к дивану. Она, нахмурясь, закачала головой, шепча: «Нет, нет, нельзя, лежа мы ничего не увидим и не услышим…» — и с потускневшими глазами медленно раздвинула ноги… Через минуту он упал лицом к ее плечу. Она еще постояла, стиснув зубы, потом тихо освободилась

от него и стройно пошла по гостиной, громко и безразлично говоря под шум дождя:

— О, какой дождь! А наверху все окна открыты…

На другое утро он проснулся в ее постели — она повернулась в нагретом за ночь, сбитом постельном белье на спину, закинув голую руку за голову. Он открыл глаза и радостно встретил ее неморгающий взгляд, с обморочным головокружением почувствовал терпкий запах ее подмышки…

В дверь кто-то торопливо постучался.

— Кто там? — спокойно спросила она, не отстраняя его. — Это вы, Марья Ильинишна?

— Я, Катерина Николаевна.

— В чем дело?

— Позвольте войти, боюсь, кто-нибудь меня услышит, побежит и напугает генеральшу…

Когда он выскочил в свою комнату, она не спеша повернула ключ в замке.

— Его превосходительству что-то нехорошо, надо, думаю, пикюр сделать, — зашептала, входя, Марья Ильинишна, — слава Богу, генеральша еще спит, идите скорее…

Глаза Марьи Ильинишны уже круглились, как у змеи: говоря, она вдруг увидала возле кровати мужские туфли, — студент убежал босиком. И она

тоже увидала туфли и глаза Марьи Ильинишны.

Перед завтраком она пошла к генеральше и сказала, что должна внезапно уехать: стала спокойно врать, что получила письмо от отца, — известие, что ее брат тяжело ранен в Маньчжурии, что отец, по своему вдовству, совсем один в таком горе…

— Ах, как я понимаю вас! — сказала генеральша, уже все знавшая от Марьи Ильинишны. — Ну что ж делать, поезжайте. Только пошлите со станции депешу доктору Кривцову, чтобы он немедленно приехал и побыл у нас, пока мы найдем другую сестру…

Потом она постучалась к студенту и сунула ему записочку: «Все пропало, я уезжаю. Старуха увидала возле кровати ваши туфли. Не поминайте лихом».

За завтраком тетя была только немного печальна, но говорила с ним как ни в чем не бывало.

— Ты слышал? Сестра уезжает к отцу, он один, брат ее страшно ранен…

— Слышал, тетя. Вот несчастье эта война, сколько горя повсюду. А что все-таки было с дядей?

— Ах, слава Богу, ничего серьезного. Он ужасно мнителен. Сердце будто, но все это от желудка…

В три часа Антигону увезли на тройке на стан-

цию. Он, не поднимая глаз, простился с ней на перроне, будто случайно выбежав, чтобы велеть оседлать лошадь. Он готов был кричать от отчаяния. Она помахала ему из коляски перчаткой, сидя уже не в косынке, а в хорошенькой шляпке.

2 октября 1940